

Одинокие. Философия и общение

Н.Н. Мурзин

Аннотация. Вопрос об одиночестве философа незаметно перерастает в вопрос о теме одиночества в философии. Как следует понимать то, что вроде бы относится к предельно личному, сращенному с опытом Я аффекту? И возможно ли здесь понимание в принципе? Интеллектуально одиночество или дано в непосредственном переживании? Связано ли эмоциональное одиночество с Я и индивидуальностью? В чем отличие индивидуальности философской от художественной и научной? Как соотносятся одиночество и общение? Начало, разворачивание проблемы, приглашение к беседе.

Ключевые слова: личность, Я, другой, понимание, фигура, аллегория, автоматизм, вечность, время.

Одинок ли философ? Причем не в смысле принципиального одиночества всякой личности, или том, что дело, которым философ занимается, собственно философское дело, требует такого вот принципиального одиночества? Может быть, одиноким он является не исходно, а в завершающем этапе своего пути, когда опыт пережитого и понятого им с неизбежностью отправляет его в последнее «царское изгнание»? Так это, или в том, что мы перечислили, никакого специфического отличия философа, философского дела, философского одиночества от любой иной участи еще не проступает?

Философ занят всеобщим – истиной. Даже если он закрыл все двери, ведущие в его внутреннее пространство, оборвал, насколько это возможно, все личные и социальные связи, его «одиночество» опровергнуто изначально тем, что он стремится помыслить то, что должно иметь значение для каждого, что справедливо во всех мирах и для всех вселенных. Но философ никак не может поделить мир начисто, без остатка, на себя и всех остальных. Даже героический миф Платона о возвращении узревшего свет истины назад, в пещерное царство теней, где томятся в плену иллюзий еще не обретшие свободы души, чтобы просветить их, не затрагивает того обстоятельства, что возвращающийся может быть *не один*. Что делать, если философ не одинок? Получается, проблемой философа является не одиночество, с которым он готов мириться и даже видит в нем отличительную черту своего призвания и избранничества, а угроза этому одиночеству со стороны другого философа. Можно, конечно, записать его, и прочих, посягающих на твою истину (а в том, что они будут, сомнений не возникает), в лжепророки, отвергать их притязания, не рассматривать всерьез. Трудность тут не в том, что они имеют точно такое же право проделать все это с тобой. Философ не знает, как ему быть с фактом наличия другого философа, возможно, потому, что занят чем-то таким, что по определению вышвыривает из любого одиночества, в котором он по старинке норовит укрыться. Наедине со всем миром не получается быть одиноким. У философа нет никаких прав на одиночество. Собственно, это вообще не его. Потому что одиночество начинается не с моего одиночества, а с моего понимания, что в мире есть одиночество как таковое. Я обнаруживаю одиночество. Я нахожу его, вдохновляюсь им, и начинаю искать все шире и все глубже. Одиноким не тот, кто один, а тот, кто знает одиночество. Многие одинокие не верят на самом деле в одиночество, с тоскливым изумлением гадают, что с ними не так, пытаются отыскать дорогу к счастливому бытию с другими, вместе, сообща. Поскольку

к нему они стремятся, его они считают реальным, значительным, ценным. И все безнадежнее увязают в нереальности собственного одиночества.

Настоящее только то, что не мое. Мое не настоящее. Но и чужое тоже не настоящее. Оно может быть воспринято мною как относительно настоящее по сравнению с моим. Но оно тоже чье-то, и следовательно, нивелировано принадлежностью другому Я, как мое – принадлежностью моему. Его способен сделать интересным, значительным, завидным в моих глазах только общий вектор интуиции, указывающей, что искать следует чем дальше от меня, тем лучше. Но другой не так далеко, как кажется. Или, правильнее сказать, это совсем иная даль. Настоящее только то, что в собственности у самого себя. *Ousia* Аристотеля – и сущность, и надел, владение. У человека в этом смысле ничего нет. Гераклит говорит: люди живут как во сне, и нет для них в действительности разницы между бодрствованием и сном. Добавим от себя – хуже: мало того, что нет у человека ни настоящей жизни, ни настоящей смерти – он не способен поэтому и провести между ними различие, не способен понять, что есть что. Оттого легко ему тонуть в обреченном безразличии и топить в нем других. В этом суть смертности человека, а не в биологических детерминантах. Если бы человек был способен составить адекватное представление о хотя бы одном реальном различии (а это, фактически, и есть то, как на средневековую латынь переводилась т.н. классическая концепция истины Аристотеля – *adequatio rei et intellectus*), добиться от себя того, чтобы оно его на самом деле, что называется, проняло, он бы воочию увидел, как меняется все, на что он привык смотреть изначально определенным образом. Но такое ясное понимание, ничего не упускающая пронизательность, которой и поздний философ Гуссерль находит место у себя и именует идеацией, усмотрением сущности – удел богов, а не людей. Боги все знают истинно, в том числе и смерть, и потому бессмертны; человек не знает даже смерти, и потому смертен. Это мудрость, трагическая и божественная, ради постижения которой Ницше готов был записаться в ученики к «философу Дионису». Но философы с самого начала шли в ученики именно к этой истине, а не к вульгарной общезначимости. Парменид, «О начале»: путь истины пролегает в иной стороне, нежели бестолковые блуждания смертных, мнящих, что они знают, где правда, а где ложь, что есть, а чего нет. Платон, «Пир»: если философский гений подобен Эросу, богу стремления, то надо понимать, что речь идет о сыне Афродиты небесной, а не плебейской (по-гречески *uranía* и *randemos*; от последнего – «пандемия», болезнь, косящая всех без разбору).

Философия – подготовка к смерти. Не желание побыстрее умереть, уйти от жизненных страданий. Чтобы готовиться к чему-то, надо понимать, к чему ты готовишься. Это опять же понимание. Подлинное мышление есть работа понимания. Формула Эпикура «я есть – смерти нет, смерть есть – меня нет» философская, а не «эпикурейская». Для человека в каком-то смысле смерти и впрямь никогда нет. Если же он начинает о ней думать, он перестает понимать, как может вообще что-то быть, почему теплится какая-то непонятная жизнь, а не царствует беспредельное равнодушное ничто. И тогда – нигилизм, обрушение. Вроде я жив, но хожу с черной смертью во взгляде. А жизнь все сильнее давит, доказывая, что она никак не смерть, что наоборот, всюду какое-то отвратительное монолитное сплошное бытие, и нигде не сыскать желанной пустоты. И я проваливаюсь, через горестное отупение и неспособность понять, в пропасть между ними, блуждаю там вечно, и меня нет, потому что этой пропасти нет; потому что когда она на самом деле есть, и я знаю, что жизнь, а что смерть, и в чем их различие, мне больше не надо никуда проваливаться. Пример греческой мудрости показывает, что достаточно решить хотя бы один вопрос. Иллюзия, что надо подходить глобально, разработать хитрый метод, который позволит правильно расположить проблемы, чтобы затем по порядку щелкать их, как орехи. Я не знаю,

имеется ли у них вообще естественная иерархия. Я могу лишь произвольно постановить, что начну с того и затем перейду к этому. Изначально же они все элементарны, однородны и в каком-то смысле тождественны. Что я могу знать? Хотя бы что-то одно. Что мне надо делать? Стремиться понять хотя бы что-то одно. На что я могу надеяться? Понять хотя бы что-то одно. И это и есть человек. «Я» элементарно, поскольку самотождественно. В качестве принципа познания, от картезианского его *cogito* до кантианского трансцендентального единства апперцепции, оно смыкается с элементарным же. Человек есть мысль. Мысль есть понимание. Понимание есть определенность. Это простая начальная раскладка, причем не на истину и ложь. Перефразируя Канта, можно было бы сказать: фундаментальное различие, фиксируемое в понятии, заключено не в том, чем вещь *является* и чем *не является*, а в том, чем она *является* и что она *есть*. Это движение от неопределенности концепта, всеобщей формы схватывания, к определенности понятия, и есть само движение мысли: мышление.

Кто-то не согласится. И этим жестом другого, не принимающего меня, я буду отброшен в одиночество. Одиночество с другими, но без истины, оттого страшное. Я одинок, когда другой отнимает у меня истину и меня у истины. Элементарным возражением, несогласием, тем, что оспаривает мое право на нее. Такое одиночество давит. Потому что я снова только я, наедине с собой, где ничего настоящего. Давит ненастоящесть. Есть ли какое иное одиночество? Но где, в чем оно? Само по себе. Ошибка начать спасаться, выкарабкиваться. Любой ценой пытаться вырваться, вернуться из ссылки, доказать, что все-таки право на истину имеешь. Глядишь, и допустят снова снисходительно к ее телу, на этот раз – в режиме всеобщего пользования. Но что, если отторжение, отбрасывание в одиночество должны – ладно, могут – чему-то научить? Что, если с него – и к нему – начинается путь мыслителя? К тому, что следует найти настоящее одиночество, чтобы избавиться от его жуткой несобственной формы? От которой никогда не освободишься, если начнешь бороться, отстаивать, защищаться. Которая только окончательно поглотит тогда, вместе со всеми регалиями и признанием.

Одиночество должно быть распознано в мире, причем не как что-то страшное, о чем даже не хочется думать. Собственно, страшное, пугающее в мысли о нем – опасность быть навеки сосланным в себя, пропасть там наглухо и ни к какой истине уже никогда не выйти. Должна явиться *фигура одиночества*. Эта фигура – образ не ближнего, а дальнего, по слову Ницше. Ближний спасает тебя от одиночества. Дальний спасает одиночество от тебя, от размазывания его смысла и сути в дурной бесконечности твоего неподлинного. Хотя с ее появлением тоже связано своего рода облегчение. Эта фигура принимает одиночество на себя; рядом с ней оно освобождается от того, что неизбежно сопутствует ему, когда оно с тобой – тоски, скуки, уныния, бездарности. Оно начинает привлекать, т.е. делается настоящим. Привлекать способно только подлинное.

Такие фигуры в Средние века называли *аллегориями*, но точно так же их можно называть олицетворениями, аватарами, символами. В этом смысле аллегоричен всякий художник. Дело не только в том, что он живет такими образами, и ими пронизано его творчество. Он распознает в них очищенную от шелухи суть того, что происходит с ним в жизни, и тем самым возвышается через свое искусство над обыденностью. Фигура, образ отражают и преображают явление. Собственно являя его, делая его явлением, они помогают человеку прозреть к своему положению, в котором он до этого пребывал бессознательно и был слеп к сути происходящего с ним. Так понятое,

искусство размыкает цикл обыденного существования и выводит сознание на первую ступень объективации. Впрочем, все это кошмарная терминология, лишенная какой бы то ни было красоты и изящества, без которых трудно мыслить искусство. Поэтому дело не в том, что мы о нем скажем. Уже многое сказано до нас, без нас, созданы весьма объемные «эстетические теории». Нет никаких причин сомневаться, что их дело будет продолжено и в дальнейшем, тем более что не такое уж оно и безнадежное.

Художник обнаруживает глубокую связь с фигурой одиночества. Искусство затребует его целиком, и только его. Перебирая образы, пробегая взглядом вереницу явлений, он в самом конце ее видит и себя, и понимает, что и сам он образ. Его влечет к ним, потому что он ощущает себя сродни им. Никакой теоретик искусства не возвысится до художника, потому что он не образ, а в лучшем случае персонаж некой истории. Отличие разительно. Персонаж обыгрывает достаточно сложную реальность, например, «отвлеченный ум», «кабинетный ученый». Образ же прост, элементарен. Ж. Делез в «Что такое философия?» говорит о *концептуальных* персонажах. Это точное попадание в суть того, что такое персонаж. Он по определению концептуален, сложен. Чтобы расшифровать, разложить, развернуть его, требуется огромная работа понимания, но работа негативная, аналитическая, критическая. Она требует от нас рысканья по закоулкам нереальности. Эти закоулки, если удастся окинуть их одним невероятным взглядом, составляют карту фантастической *зоны негативности*, образованной историями субъектов, присвоивших себе события вроде одиночества и сделавших их своими свойствами или состояниями. Мы не спрашиваем у образа, почему он одинок, потому что одиночество – его суть, он с ним одно. Другое дело, что мы улавливаем в нем все те возможности, развертывание которых, в воображении или реальности, набрасывает весь универсум историй.

Пассивное Я сознания, поглощенное поглощенными им событиями, в корне отличается от активного Я мышления и действия, его *cogito* (особенно если придерживаться взгляда, согласно которому *cogitare*, «мыслить», трактуется как *co-agitare*, *cum-agitare*, «со-действовать», заниматься тем, что идет неотрывно, в одной связке с действием). Мыслить и быть одно. Ницше: мифология это домысливание к действию деятеля. Или, в метафорах языкового пространства, к глаголу – субъекта, подлежащего (Делез, «Логика смысла»). Задача тут не отменить имена существительные, что абсурд. Задача – увидеть, через связку с образом, в них интенсивность становления, события. Это одиночество одиноко, а не я. Оно по природе таково, что «одионочествует». Оно означает бытие-как-одинокое, а не мое бытие-одиноким. Отпустить мысль к вещи, не думать о себе: призвание мыслящего существа? Может быть. Но на этом не успокойсья. Разве научный метод не говорит что-то похожее: отбросьте «субъективность», устремитесь к «объективности». Что с ним не так? Да то только, что он не отпускает на самом деле мысль к вещам, а закабалает ее жесточайшей практикой, отдает, как ребенка в романе Диккенса, в рабочий дом. Мысль, нуждающаяся в постоянном одергивании и неусыпном надзоре, которую надо подстраховывать непогрешимостью метода и ни на минуту не оставлять без контроля, очевидно, подозревается в том, что на деле она тот самый волк, которого как ни корми, он все в лес норовит. Философия тоже не спешит безоглядно доверять мыслящему существу только на основании кажущейся наглядности того, что это *оно* мыслит, и, говоря «мысль», надо иметь в виду именно его. Но философия между истиной и наукой, и в ней мы еще вольны шагнуть туда или сюда, освободить от страдания или сделать больно. В науке идейная жестокость, недоверие к Я, субъективности, одновременно и упрощается, и возводится на следующую ступень. В наукообразной философии, в идеале дисциплинарности она уже куб, практически неотличимое от реального трехмерное пространство, с которым так легко слиться.

Итак, художник обнаруживает глубокую связь с фигурой одиночества. Здесь, скорее всего, коренится источник вдохновения героическими образами, узнаваемый спутник гения классической эпохи. Одиночество может принадлежать только такой фигуре, только подлинной индивидуальности. Иначе чему быть одиноким? Разделять всеобщую судьбу не обязательно означает быть обласканным ею. Человек неотделим от других не только в мире и счастье, но и тогда даже, когда другие его бьют и гонят. Обстоятельства слишком одинаковы, различия слишком относительны. Поэтому, когда приходят насмешники и скептики и начинают отнимать у людей, сообществ, народов наивную веру, что есть в их жизни, в их истории что-то абсолютно однозначное, оспаривают их привилегию на несомненность, то, сколь бы отвратительно это не выглядело, надо понимать, почему мир допускает такую возможность – почему решительно все в «царстве духа» может быть вывернуто наизнанку, и ни один идеал не стоит, по большому счету, доверия. Несправедливость допускается Вселенной, и слезами тут горю действительно не поможешь. Наше же горе, очевидно, ничтожно – не в своей собственной мере, а в той, в какой оно наше. Мы сами не осознаем, насколько обесценивается страдание, поскольку происходит с нами. Оно не про нашу сомнительную индивидуальность, которая, где ни копни, оборачивается псевдоподией общественного сознания, или хуже того, аспектом биологического устройства человека как такового. Поэтому, в частности, философия издревле призывала человека к самостоятельности-самостоянию (у В. В. Библихина это «автоматизм» в противовес «механизму»). Познай самого себя. Если человек всегда только «мы», и всякое «я» в человеческом мире условность, большая или меньшая, упраздняются как нелепые допущения страдание и счастье, добро и зло, этическое в его самом возвышенном смысле. Но эта опасность учтена философией, и ей нет нужды узнавать о ней от карликовых критик, путающих кропотливость и крохоборство, и строящихся на отбрасывании того, о чем «нельзя говорить». Языку ведь не запретишь, и слово вырвется прежде, чем авторитетные аналитики призовут его к молчанию. Скажут: ну и пусть себе вырывается, только в обыденной речи, где сам черт ногу сломит; мы-то говорим о научном, строгом словоупотреблении, об истине, в конце концов. Тут и хочется спросить: а с каких пор философия перестала помогать и стала отталкивать и осаживать? С каких пор она сделалась элитарной? Ну, тут только посмеются: мол, какую глупость вы говорите, попробуйте выйдете к «людям» и расскажите им о субстанциях и акциденциях – и им, и вам с философией все сразу станет ясно. Она достояние немногих, очень немногих. Но разве субстанции и акциденции не про то же, про что все в мире? Может, тогда философия и стала одинокой, когда это забыла?

Скажут: философ по сути своей одинок. Однако это не так. Философ, можно сказать, один. Не в том смысле, что вот он один, и больше не было, нет и не будет, вообще или конкретно сейчас. Философов много, и слава Богу. Философии еще больше; она, судя по всему, никогда не иссякнет, в какие обличья ей бы не пришлось рядиться в дальнейшем и какими именами называться. Она выживает, и, конечно, выживет, даже сквозь нынешнее крохоборство.

Художник обожает, обожествляет героя, потому что герой – та самая несводимая ни к чему больше, кроме самой себя, единица, которая в мире негероическом в лучшем случае условность, допущение, чтобы на переключке каждый мог гаркнуть в ответ на начальственный окрик: «Я! Здесь! Так точно!» Герою принадлежат и одиночество, и страдание, и радость, и дружба, и любовь, и ненависть, и жизнь, и смерть, поскольку он подлинный, действительный «кто», которому «что» изначально отдано, дается полной чашей. Мир начинает по-настоящему существовать лишь для того, кого может узнать и окликнуть, и услышать оклик в ответ; на шум и

ярость условной индивидуальности он ответит гробовым безмолвием, или вообще никак, ничем, что гораздо ужаснее. Потому что это «ничто» нигилизма. Мир реален для того, кто реален для него. Вещи соединяет подлинность. *Res cogitans* и *res extensa* Декарта соединены (но не свалены в кучу) уже потому, что обе определяются как подлинно существующее. «Я», способность быть чем-то, быть собой и есть залог истины. Пустое одиночество выпадает только тому «Я», которое на деле никогда не одиноко, самому себе на горе – не одиноко как раз потому, что не может начаться и осуществиться в полной мере как «Я». И еще потому, что привыкло делить все на себя и другое, свое и чужое, и думает, что одиночество – это, наверное, «свое». Но своего ничего нет. Это хорошо чувствует английский язык. В нем можно сказать: одинокое место, а *lonely place*. Что это, место, где испытываешь одиночество? Где понимаешь, что такое одиночество, находишь его? К этому ближе русское «уединение», «уединенный». Ведь философ, ищущий уединения, желающий уединиться, чтобы мыслить покойно в предоставленный ему срок, куда лучше, чем «одиноким философ», да и по сути ближе к истине философского существования, чем псевдоромантическое заштампованное «одиночество», добрый сосед «непонятости». Один роман Брэдбери называется “*Death is a lonely business*”. Перевод на русский: «Смерть – дело одиноких», звучит хорошо, да и по сюжету близко. Но все же это «одинокое дело», или «дело, требующее уединения» опять же, предельно личное, такое, где никто не только не помощник, но даже и в роли свидетеля не сможет выступить, разве только «свидетель» берется в криминологическом смысле. Еще один хороший пример – *leave me alone*, оставь меня в покое, не донимай. Такое могут в сердцах выкрикнуть, прося о хотя бы мимолетной передышке, отдыхе от осточертевшей суеты. Но англоязычный ответ на этот, так сказать, крик души, делает очевидной приблизительность русскоязычного «покоя», и возвращает изначально присутствующее одиночество. *Leave me alone. – You are alone.* Ты и так один. Здесь больше никого нет.

Почему все это так важно? То, что каждый философ уникален, не отменяет и не вступает в противоречие с тем, что он никак не один. Единственное настоящее одиночество – то, которого даже не ощущаешь; тоска небытия. В том смысле, в котором человек не ощущает себя, как у Манделыштама не чувят под собой страны, ни в чем не уверен, не знает, какая цена ему и тому, что он делает, на каком свете он живет и нужен ли вообще кому-нибудь – в этом смысле одиночество повальное явление. С собой человеку не интересно. А если и кажется, что интересно, то это потому, что он решил, что вместил уже в себя целый мир. Ему все равно не с собой, а с миром в себе не скучно. Но он ничего не вместил. Мир остался снаружи. И надо опять к нему идти, а старыми тропами наново не пройдешь.

Нам, философствующим сегодня, грозит опасность замкнуться в себе, заикнуться на своем одиночестве, которому мы не первооткрыватели и уж тем более не хозяева – нас к нему просто приучили наши предшественники. Мы отвратительно одиноки, потому что не знаем и не желаем знать других, кроме как из журнальных публикаций, где другой не другой, а справка по интересующему нас вопросу. Когда мы смотрим на молодого человека с усталостью, а слушаем его со скукой, мы окончательно увязаем в одиночестве. Еще хуже, когда мы его хвалим, особенно если искренне – тем самым мы признаем, что он к нам ближе, а не мы к нему, как должно было бы быть. Мы не идем навстречу – мы ждем, когда к нам придут. А когда приходят, консультируем, блистая личной эрудицией, и даем понять, что это единственный и наивестественнейший путь. Быть такими, как мы. А то, что скорее мы для них, а не они для нас – многие ли об этом помнят? Представитель любой другой, господи прости, специальности, имеет моральное право сказать, что его дело – нужда

момента, но только не философ. Если только это не собственно философский момент, момент истины. Время для философии. Время вспомнить о философии. Вот мы и отыскивали что-то свое. Это, конечно же, не одиночество. Оно прекрасно и без нас обойдется. Наше – это то, что дается нам, и более никак не существует.

Мы, как и наши предшественники, воспитывались в суровой установке. Она готовит к самостоятельности, но не к открытости. К одиночеству, но не к общению. К монологу, но не к спору. Мы убеждаем себя, что так нужно. Индивидуализм, здоровая конкуренция. Но частные монологи сами собой не составят единого философского диалога. Отдельные партии не сольются в симфонию, потому что партитурой этого изначально не предусмотрено. Этой партитуры в принципе нет. Я не имею в виду тупое однообразие, принудительную согласованность, очередной идеологизированный «хор». Спор тоже симфония. Но здесь никогда не будет спора. Он повис в воздухе, так толком и не начавшись. От него заранее ушли. Ушли от многого, ограничившись личными выпадами, которые «непосвященным» ничего не скажут, и вообще не важны и не нужны. У системы есть положительные моменты, но они работают исключительно в рамках той же системы.

К сожалению, все это тоже наследие философии. Благодатность как-то незаметно ускользает; остается одна суровость. Мы знаем, как сделать сознание несчастным, но не умеем и не хотим делать его счастливым. Аристотель, родоначальник научности, говорит об «удивлении» и «счастье», мы – о каких-то серых вещах. Выкрутиться: Аристотель уже об этом сказал, молодец, избавил нас от необходимости повторяться – не выйдет. В списке того немногочисленного, от чего философия точно не избавляет, необходимость повторяться чуть ли не на первом месте. Когда мы кричим, что нас не понимают, как-то забывается, что мы сами не сделали самого главного для того, чтобы нас поняли – никого к нашему пиршеству не пригласили. Отделались, как это принято, пародией на приглашение. «Я тебя прочитал». «Я тебя тоже». «Я тебя процитировал». «Я тебя тоже». За что кукушка хвалит петуха.

Но это вопрос времени – как и все, как и всегда. Нет такой алхимической мистерии, которая позволила бы превратить свинец времени в золото вечности, да она и не нужна. Вечность наше начало. Человек начинает из вечности, из неподвижного, застывшего, пустого абсолютного «сейчас». Оно смутно, размазано. Его границы неопределенны, вернее, неопределенность и есть его граница, что значит – ее нет. Та граница, которой нет, непроходимее всего. Мы *начинаем* с бесконечного, безграничного одиночества. Вечность не отпускает нас. Она кажется нам чем-то столь важным, невероятно поглощающим, что на все остальное едва хватает времени. «Время» мы всему остальному и уделяем, как правило, жалкое, чтобы как можно быстрее расквитаться с «делами» и вернуться к поглощенности нашей вечностью. Вечность создает иллюзию, что надо как можно быстрее разделаться с какими-то незначительными, надоедливыми вещами, непонятно как вообще на фоне вечности возникшими, чтобы сосредоточиться на «главном». Вечность почти неодолимый противник. Трудяги хвалятся тем, что уж они-то точно своими многочисленными трудами вечность осилили. Обоснован ли их оптимизм. Многим вечность не осилить. Многие уже знак поражения перед вечностью, и тайного желания укрыться от нее в иллюзию насыщенности временем, постоянной занятости тем-сем, пятым-десятым, распланированной, расписанной до упора жизни. Вечность одолевается одним-единственным. Так в теории большого взрыва *big bang*'у и порождению Вселенной предшествует образование *stratellite*'а.

Что же в состоянии преодолеть вечность и избавиться от ее плена? Очевидно, она сама. Ее надо отпустить от себя. Одиночество отпустит человека из своего плена только тогда, когда человек отпустит одиночество из своего. Вечность следует

выбросить вперед себя, и тогда, став задачей, она преобразится и станет временем. Не пустым временем абстрактного счета, а временем осуществления, каждый момент которого конкретен, поскольку отсчитывается, отмеряется по количеству и качеству отстояния от задающей разметки. Когда человек, как мы это называем, занимается чем-то с полной отдачей, он как бы теряет счет времени. Прекратить, действительно, этот мелочный счет, отдать опустошенному времени все то, что откладывалось на вечность – не меньшего требует такая задача. Когда я говорю: не знаю, сколько это может занять, но готов заниматься этим целую вечность – вечность отпускает меня и передает свою накопленную энергию вещам, которые раньше казались столь ничтожными и не заслуживающими интереса мертвому взгляду моего одиночества. Теперь они преобразуются. Я убеждаюсь, что они могут иметь смысл и быть прекрасными. Работа, которая раньше, казалось, требует не пойми сколько времени, вдруг делается споро, за час.

Время прибывает от общения, а не тратится. Вернее, мы тратим «свое» время, чтобы богатело время само по себе, время *свободное* (от нас). Такое время, мы знаем от Аристотеля, более всего необходимо для философии. Слова на странице, даже если они твои собственные запечатленные мысли, это знаки, имеющие состав, число, размер, объем. Но когда человек говорит, калькулятор не работает. Ему нечего, не на чем и незачем высчитывать. Вечность – отложенное, удерживаемое, искусственно застопоренное время. Когда оно вырывается из плена, оно устремляется к абсолютному горизонту, но на сей раз не смутной, неопределенной границе, а чему-то совсем иному. Время ищет другое время, чтобы освободить его из плена чьей-то еще мучительной вечности, чьего-то еще одиночества. Так начинается общение. Конца же ему нет – только завершенность, свершенность, совершенство.